

**М. А. БА Р Г**

## **ОБ ОДНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ**

Переходные эпохи между двумя последовательными общественно-экономическими формациями являются едва ли не самыми сложными объектами исторического познания. Пестрота, многозначность, переплетенность, характеризующие общественные явления в такие периоды, усложняют задачи исторического анализа. Однако именно подобные переходные эпохи всемирной истории служат для научного исследования объектами наиболее благодарными с точки зрения таящихся в них познавательных возможностей. На крутом переломе в жизни народов, подчеркивал В. И. Ленин, становится особенно далеко и ясно видно <sup>1</sup>. При столкновении двух последовательных общественных формаций — например, феодализма и капитализма — каждая из них противопоставляет другой свою специфику и отличительные особенности <sup>2</sup>. Объективно-историческое и познавательное значение межформационных переходных эпох объясняет, почему они оказались в истории исторической науки — и поныне остаются — ареной крайне острой идеологической борьбы, областью исследования, в которой научные дискуссии не прекращаются. Одной из наиболее спорных проблем этой дискуссии остается так называемый «кризис XVII в.». Однако, прежде чем приступить к рассмотрению сути этой проблемы, следует предварительно, хотя бы вкратце, остановиться на некоторых общих посылах освещения буржуазной историографией переходных эпох.

### **КОНЦЕПЦИИ «РАЗВИТИЯ» В ОСВЕЩЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ**

Ярко выраженный диалектический характер переходных (межформационных) эпох требует от историка, их изучающего, диалектических по своему характеру методов познания. Между тем буржуазная историография ни в один из моментов своей истории, в том числе и в период, когда она еще разделяла идею прогресса, не обладала адекватной теорией исторического развития. Независимо от общефилософских воззрений эта историография всегда находилась и поныне остается в плену метафизического мышления. Парадоксально, но в буржуазной историографии нет и не было направления научно-диалектического — по методу рассмотрения процесса развития. Развитие как однолинейное движение данного, как изменение количества, как преобладание сущего, незаметный переход от стадии к стадии — вот эталон исторического процесса, его нормы, утвердившийся

<sup>1</sup> См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 16, стр. 23—24.

<sup>2</sup> Понятие «феодализм» сложилось только в XVI—XVIII вв., т. е. в канун крушения феодального строя.

(и поныне господствующий) в буржуазном историческом мышлении с середины XIX в. Но это означало, что вместо категории развития, суть которой заключается в диалектическом отрицании данного <sup>3</sup>, подставлялась категория изменения столь постепенного, что требуются долгие промежутки времени, чтобы его обнаружить <sup>4</sup>. При таком понимании развития на первый план выдвигается категория «роста». От этой метафизической концепции буржуазной историографии не дано освободиться. Методологический ее аспект с предельной отчетливостью охарактеризовал В. И. Ленин: Она «(1)... описывает *результат* движения, а не *само* движение; (2) ... не показывает, не содержит в себе *возможности* движения; (3)... изображает движение как сумму, связь состояний *покоя*»<sup>5</sup>. При таком подходе действительность не только до крайности обедняется, но и извращается. Подмена внешним — внутренним, эволюцией — качественных скачков, однолинейной причинностью — диалектическим взаимодействием — все это лишает буржуазную историографию способности различать прогрессивные исторические эпохи, равно как и объяснять переход от одной из них к другой.

В последние годы на помощь буржуазной историографии пришли, с одной стороны, социология и, с другой — теоретическая экономия. Первая предложила ее вниманию модель развития внутри одной и той же «равновесной» системы (или, что то же, структурно-функциональную модель) <sup>6</sup>. Вторая разработала ряд «теорий» экономического роста (Шумпетер, Ростоу и др.) <sup>7</sup>. Примечательно, однако, что при всех различиях характера явлений, в рамках которых моделируются соответствующие концепции, общей для них чертой является то, что во всех случаях источником движения служат не внутренние противоречия, не элементы социальной структуры ей антагонистические, а факторы субъективные, а именно «психологические структуры» личности. В результате, мы то и дело сталкиваемся с различными модификациями шумпетеровской фигуры «новатора», который только один способен перевести «развитие по кругу» на линейное, т. е. кумулятивное развитие. Вот как, например, американский социолог Н. Смелзер объясняет технические нововведения в Англии в период промышленного переворота. Они, оказывается, всего-навсего — результат «волевых актов», стимулируемых: неудовлетворенностью достигнутым уровнем производительности труда; ощущением, что можно достичь большего; симптомами недовольства (среди рабочих) в форме «неприспособленных», негативных эмоциональных реакций и т. п. <sup>8</sup> Одним словом, речь идет только о так называемых «мотивах поведения», т. е. о чисто субъективном, психологическом объяснении истоков экономических и социальных изменений. Но разве не к тому же пришел Уолт Ростоу в своей напущенной книге «Стадии экономического роста»? Вот как он рисует факторы перехода от «традиционного общества» к стадии «снятия» (take off). «Чтобы увеличить пропорцию капиталовложений ..., — пишет он, — одни члены общества должны быть готовы взять на себя риск инициативы, внедряя до-

<sup>3</sup> «Всякое развитие, — писал К. Маркс, — независимо от его содержания, можно представить как ряд различных ступеней развития, связанных друг с другом таким образом, что одна является *отрицанием* другой». — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 296.

<sup>4</sup> Ш. Сеньобос. Исторический метод в применении к социальным наукам. М., 1902, стр. 111—112.

<sup>5</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 232.

<sup>6</sup> T. Parsons. The Social System. Glencoe, 1951; T. Parsons, E. A. Shils (Eds). Towards a General Theory of Actions, vol. I—II. Cambridge (Mass.), 1951.

<sup>7</sup> I. Schumpeter. The Theory of Economic Development. Cambridge (Mass.), 1937; его же. Aufsätze zur Soziologie. Tübingen, 1952; L. H. Dupriez. Mouvements économiques généraux. Louvain, 1951; E. Domar. Essays in the Theory of Economic Growth. New York, 1957; W. Rostow. The Stages of Economic Growth. Cambridge (Mass.), 1960.

<sup>8</sup> N. Smelser. Social Change in the Industrial Revolution. New York, 1959.

ступные изобретения и превращая их в капитал. Другие — одолжить свои деньги на длительные сроки и с высокой мерой риска»<sup>9</sup>. Перед нами психологическое объяснение процесса развития: все зависело от личностей определенного психологического склада. Ограничивая исследование «установлением» подобных факторов, авторы анализируемых моделей достигают двух целей: создают видимость «очеловечивания» истории, и в то же время эти модели очень удобны для тех, кто не желает доискиваться объективных условий появления личностей указанного «типа». Наряду со структурно-функциональными моделями развития, в последнее время широкое распространение в историографии приобрели, с одной стороны, модели «циклические» и, с другой — «неоэволюционистские концепции».

Первые воспроизводят исторический процесс только сквозь призму «состояния» хозяйственной конъюнктуры, которая движется от подъема к спаду. Поскольку «конъюнктура», согласно этой концепции, может и должна анализироваться вне контекста социальных связей, постольку и факторов, которыми обусловлена смена указанных циклов, также доискиваются вне этих связей<sup>10</sup>. «Циклические» модели развития — в широком плане — это способ отрицания учения об общественно-экономических формациях, а в более узком плане перед нами, по сути дела, подмена качественного анализа событий факторным анализом количественного роста.

#### **ДИСКУССИЯ О «КРИЗИСЕ XVII ВЕКА» В ИСТОРИОГРАФИИ 50—60-х ГОДОВ**

Современная буржуазная историография не оперирует понятием «переходная эпоха» как выражением содержания всемирно-исторического периода смены одной общественной формации другой. Как известно, XVII в. принадлежит именно к такому периоду. Поэтому в высшей степени актуально рассмотреть, как буржуазная историография разрабатывает общую концепцию истории этого века. Если попытаться вкратце сформулировать проблему, которая привлекла внимание западной историографии в течение последних лет, то она заключается в следующем: имеет ли XVII в. свой неповторимый исторический облик — социально-экономический, политический, идеологический, который мог бы придать ему внутреннее единство, служить объединяющим стержнем, выразить его специфическую историческую особенность, как это, к примеру, выражено в понятиях «Возрождение», «Просвещение», или этот век настолько мозаичен и разнороден не только при переходе от одной сферы общественной жизни к другой, но и на различных его отрезках, что о каком-либо внутреннем единстве и речи быть не может, и ему как «промежуточному времени» суждено примыкать своим началом к Возрождению и заключительными десятилетиями — к Просвещению?

В поисках ответа на этот вопрос и возникла концепция «кризиса XVII в.». В ней как будто отражено согласие с первой из приведенных альтернативных формулировок: XVII в. — век кризисной конъюнктуры, именно это придает ему отличительную особенность и специфику<sup>11</sup>. Однако

<sup>9</sup> W. R o s t o w. Op. cit., p. 111.

<sup>10</sup> N. K o n d r a t i e f f. Die lange Wellen der Konjunktur. — «Archiv für Soziologie und Sozialpolitik», Bd. 56, 1936, S. 573; J. S. D u e s e n b e r y. Business Cycles and Economic Growth. New York, 1958.

<sup>11</sup> R. M o u s s n i e r. Les XVI-e et XVII-e siècles. Le progres de la civilisation. Paris, 1953; E. H o b s b a w n. The General Crisis of the European Economy in the 17th Century. — «Past and Present», 1954, № 5—6; H. R. T r e v o r - R o p e r. The General Crisis of the 17th Century. — «Past and Present», 1959, № 16; «The General Crisis of 17th Century. A Symposium». — «Past and Present», 1960, № 18; E. M a u r o. Sur le «Crise» de XVII-e siècle. — «Annales. Economies. Sociétés. Civilisations», 1959, № 1; R. R o m a n o. Tra XVI et XVII secolo. Una crisi economica 1619—1622. — «Rivista Storica Italiana», vol. 71, fasc. III, 1962; е г о ж е. Encore de la crise de 1619—1622. — «Annales», 1964, № 1.

это только видимость ответа, ибо, как мы увидим ниже, все зависит от истолкования категории «кризис». Последний может означать и нечто такое, что не оставляет камня на камне от идей «единства» XVII в. Итак, положение — «XVII в. — век кризиса» — тотчас же требует уточнения: кризиса чего, т. е. каких структур, какого характера, какой длительности, наконец, что вообще имеется в виду под этим обозначением с точки зрения общего хода истории?

Впервые концепция «кризиса» в западной историографии была рассмотрена в работе французского историка Р. Мунье<sup>12</sup>. Однако в ней «кризис XVII в.» играет роль скорее эмоционального образа, нежели аналитического (т. е. теоретически сформулированного) понятия. В самом деле, несмотря на все старания, читатель так и не узнает из книги Мунье, что имеется в виду под этим понятием: ряд параллельных, различных по происхождению, но синхронных (по времени) кризисов или, наоборот, единый по генетической природе кризис, проявившийся в самых различных областях общественной жизни? Если исходить из характеристики XVI в. как века «капиталистической революции» (отождествленной Мунье с развитием торгового и денежного капитала), то «кризис XVII в.» должен означать, по-видимому, движение вспять, задержку в течении этой революции, в развитии капитализма. Однако в перечне проявлений «кризиса» Мунье не ограничился, как этого можно было ожидать, только фактами, относящимися в строгом смысле слова к становлению капиталистического уклада хозяйства. Наряду с ними в качестве «доказательств» фигурируют, с одной стороны, процессы, не вытекавшие из «капиталистической революции», не связанные с ней, а, скорее, влиявшие на ее течение (демографический спад, эпидемии и пандемии) и, с другой — факты, относящиеся к духовной жизни общества, имевшие более чем косвенное отношение к кризису «капитализма», например распространение культуры барокко. Таким образом, «общий кризис XVII в.» в интерпретации Мунье — это не кризис капитализма, сложившегося будто бы в XVI в., а совокупность параллельных кризисов, поразивших все общество в целом, все его элементы и звенья, как некое стихийное бедствие, которое объяснить невозможно.

Как совместить эти очевидные противоречия? С точки зрения самого Мунье никакого противоречия здесь нет. XVII в. рисуется ему как время многих одновременных кризисов в различных сферах общественной жизни, как простое стечение «несчастных обстоятельств» в ряде стран Европы. И это пространственно-временное совпадение представляется достаточным, чтобы назвать XVII в. веком «общего кризиса». Но если это так, то формы проявления «поэлементных» кризисов вовсе не связаны друг с другом, а, наоборот, столь же автономны и разрозненны, как и сами эти элементы. В самом деле, если сопоставить, по примеру Мунье, спад в демографии (наметившийся до и независимо от военных опустошений); военный кризис в международной жизни; борьбу между централизацией (абсолютизмом) и партикуляризмом (сословия) во внутривластной жизни, то возникает вопрос, что общего имеют эти кризисы, генетически и по своей природе? И нам останется ответить — одновременность. Так XVII в. лишается даже в рамках отдельно взятой страны какого-либо внутреннего единства и превращается в простое стечение ряда неблагоприятных обстоятельств. Но тогда в чем отличие «кризиса XVII в.» от «кризиса XIV—XV вв.»? Те же эпидемии, те же военные условия, та же «конъюнктура деловой активности». Специфика XVII в. оказывается мифом. Таково историкографическое воплощение концепции социологического параллелизма Р. Мунье, реализованной на опыте истории XVII в.

Э. Хобсбаум — историк-марксист, его статьи, посвященные «кризису XVII в.», сыграли важную роль в критике концепций типа изложенной выше. Начало его трактовки этой проблемы было более чем обнадеживаю-

<sup>12</sup> R. M o u s s n i e r. Op. cit.

дим: XVII в., подчеркивал Хобсбаум, последняя фаза общего перехода от феодализма к капитализму. Кризис XVII в. отличается от предшествовавших ему кризисов, поскольку он привел к коренному разрешению трудностей, стоявших на пути к триумфу капитализма <sup>13</sup>.

В этом глубоком определении — наглядное свидетельство, что только диалектический материализм в истории создает необходимую теоретико-ознавательную базу для того, чтобы увидеть исторический процесс в его одержательном единстве и универсальности. Именно поэтому Хобсбаум — единственный из участников дискуссии — оперирует категорией «переходной эпохи от феодализма к капитализму» и характеризует XVII в. как заключительную фазу» целой эпохи. Всемирно-историческая постановка вопроса — теоретическое преимущество этой позиции перед всеми другими «очками зрения, выдвинутыми в ходе дискуссии. Однако и из его работ вытекает заключение о паучной бесплодности самого понятия «кризис» (без дальнейших определений) для анализа истории XVII в. Хобсбаум не избежал отождествления общего кризиса феодальной формации с экономическим упадком. И это потому, что если абстрагироваться от собранных им свидетельств указанного спада в странах Европы в XVII в. (в сравнении с XVI в.), то от «общего кризиса XVII в.» в его интерпретации ничего не остается.

Анализу состояния «феодальной среды» капиталистического развития в рассматриваемой работе не уделено достаточного внимания. Она как бы только присутствует в качестве «аргумента», но не функционирует как активная общественная сила, не знает собственного движения. Это является лишним доказательством того, что совмещение изучения процессов генезиса капитализма и разложения феодализма — трудная исследовательская задача. Легче, разумеется, рассматривать эти стороны в «обособленном виде», или, в лучшем случае, одну — при «неподвижности» другой стороны.

Хорошо известно, какое принципиально важное место занимает XVII в. в марксистской периодизации всемирно-исторического процесса. Определение Английской революции XVII в. в марксистской историографии как первой революции «европейского масштаба» позволило увидеть в ней поворотный пункт всемирной истории <sup>14</sup>. Провозгласив политический строй нового европейского общества, подчеркивал К. Маркс, революция середины XVII в. выражала в гораздо большей степени потребности всего тогдашнего мира, чем потребности самой Англии, в которой она происходила <sup>15</sup>.

Тем не менее разделяющий эту концепцию Хобсбаум нашел возможным исследовать вопросы экономической конъюнктуры вне общего контекста всемирной истории. Однако понятие «единства истории Европы XVII в.» возникает только при условии, если рассматривать совокупный процесс сквозь призму событий в Англии 40-х годов этого столетия. Такое требование не следует, разумеется, толковать столь упрощенно, будто в каждой европейской стране нужно «искать» и «находить» нечто похожее на буржуазную революцию или хотя бы на революционную ситуацию — ведь именно так и поступил историк Р. Мерримен, обнаружив в Европе XVII в. «шесть одновременных революций» <sup>16</sup>. Только рассматривая Английскую революцию как высшее выражение конфликтов, противоречий, тенденций, характерных для фазы перехода от феодализма к капитализму, воплощенной XVII в., можно расположить, исходя уже из локальной исторической ситуации каждой страны, каждое событие на том или ином отрезке от этой

<sup>13</sup> E. Hobsbawm. Op. cit., p. 37.

<sup>14</sup> См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 6, стр. 115.

<sup>15</sup> См. там же.

<sup>16</sup> R. B. Merriman. Six Contemporaneous Revolutions. Oxford, 1938. Против такого рода упрощения выступал в своей последней книге Б. Ф. Поршнев. — См. Б. Ф. Поршнев. Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII века. М., 1970.

вершины. При этом следует иметь в виду, что внешне однородные явления имели разный смысл. Наблюдаемые (при аналогии с английскими событиями) восстания, мятежи, торговые и политические кризисы, религиозная борьба в других странах локально, на данном отрезке времени, могли часто означать нечто прямо противоположное в сравнении с событиями Английской революции. Отсюда следует тот вывод, что если толковать «кризис XVII в.» как серию параллельных и разнородных кризисов, то это будет означать отрицание общей черты европейской истории, которая нашла свое выражение в Английской революции XVII в.

Как понимать слова К. Маркса о том, что Английская революция выражала в гораздо большей степени «потребности всего тогдашнего мира», чем потребности самой Англии? <sup>17</sup> Что это за потребности? Каков ареал стран и народов, разделявших эти потребности? Идет ли при этом речь о потребностях этих народов в XVII в.? Вряд ли мы будем далеки от истины, если предположим, что здесь имеются в виду потребности нового европейского общества, т. е. капиталистического общества как формации, безотносительно к уровню ее развития в каждой отдельной стране. Следовательно, всякая прямая или косвенная интерпретация Английской революции как «островной», «сугубо локальной», «ничего в Европе не изменившей», означает худшего вида упрощение действительного процесса европейской истории, устраняет саму суть ее единства.

Разумеется, историку прежде всего бросается в глаза внешне то, что может стать предметом статистики, классификации и описания. При таком взгляде заметно сходство движения кривой народонаселения, урожайности, торгового обмена в различных европейских странах — все это проявления общеевропейской «конъюнктуры». Но подобное единство — суммарное, временное, внешнее. В отличие от него, внутреннее единство носит постоянный характер. И заключается оно в единстве ведущих противоборствующих социально-исторических тенденций. В общеевропейском масштабе оно представлено двумя регионами, в которых фундаментальные процессы в XVII в. являлись противоположно направленными: регионом необратимого процесса генезиса капитализма и регионом феодально-крепостнической реакции — к востоку от р. Эльбы, где генезис капитализма замедлился. Обе тенденции отражали лишь различные формы преломления генезиса капитализма в различной локально-исторической ситуации.

Работу английского историка Тревор-Ропера, посвященную «общему кризису XVII в.», не назовешь иначе, как «реакцией» на работу Хобсбаума. Она написана с позиций, очень близких к воззрениям Мунье. Отрицание связи событий XVII в. с кризисом феодализма, с переходом к капиталистическому типу общественной организации, отрицание связи «общего кризиса» с борьбой классов, потрясавшей европейское общество в XVII в., — такова основная цель, которую преследовал Тревор-Ропер в своей интерпретации истории XVII в. Характерно, что Тревор-Ропер не замыкается в пределах экономики. Он, наоборот, ищет ответ на вопрос в структуре классов, политики, идеологии, этики, он ощущает потребность во «всеобщем» рассмотрении проблемы. Крен Тревор-Ропера в сторону явлений надстройки направлен прежде всего против материалистического понимания истории вообще.

Середина XVII в. в Европе характеризовалась «серией революций». Они отличаются одна от другой, но, рассматриваемые вместе, они представляются «всеобщей революцией». После перечисления в одном ряду «пуританской революции» в Англии, буржуазных и народных восстаний, в частности Фронды во Франции, «антииспанской революции» в Нидерландах, восстаний в Каталонии и Андалузии, в Португалии и Неаполе, Тревор-Ропер ставит вопрос: какова была «общая причина» или характер это-

<sup>17</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 6, стр. 115.

го кризиса? Каковы были общие условия существования западноевропейского общества, которые делали его столь универсально восприимчивым к «эпидемии революции»? Часто ссылаются на Тридцатилетнюю войну, подготавлившую почву для распространения недовольства в массах. Но это война была продолжением европейских войн XVI в.<sup>18</sup> Между тем XVI в. не является веком революций. Англия, ставшая ареной крупнейшей из революций XVII в., в Тридцатилетней войне фактически не участвовала. В то же время Германия, больше всего пострадавшая от Тридцатилетней войны, не пережила революции. Хотя и XVI в. знал свои «революции», отмечает Ропер, они были гораздо менее глубокими, чем «революции XVII в.». Они не привели к такому глубокому разрыву в исторической преемственности. Вопреки переменам, вызванным Реформацией и контрреформацией, общество в конце XVI в. оставалось таким же, каким оно было в начале этого столетия — аристократическим и монархическим: XVII в. разорван по середине. Люди конца XVII в. едва ли могли представить его начало<sup>19</sup>. Отклоняя марксистское объяснение истории XVII в. как «недоказанное», Тревор-Ропер решительно с ним не согласен. Английская революция XVII в., заявляет он, ничего общего не имела с развитием капитализма в Англии, и точно так же развитие капитализма не нуждалось в революции. Кризис XVII в. не был ни конституционным кризисом, ни кризисом производства, это был кризис в отношениях между обществом и государством<sup>20</sup>.

Перед нами образец формально функционального подхода к проблемам истории и к объяснению исторических ситуаций вообще и революционных ситуаций в частности. Вместо классовой структуры общества в этой модели подставляется формальное противоположение: «общество — государство», предназначенное для анализа всех эпох и поэтому непригодное ни для одной. В самом деле, Тревор-Ропер нарисовал картину дворцовой жизни абсолютной монархии с ее все расширявшейся функцией подкармливания придворной знати, все увеличивавшейся властью «служилых», с ее показной утонченностью вкусов, и ни разу, даже в виде случайной оговорки, он не назвал это государство абсолютистским. Вместо этого он предпочитает понятие «государство Возрождения». Эта категория более удобна для игнорирования классовой сути государства. Но если термин «ренессансное государство» сохраняет все же знак времени, т. е. историческую (точнее — хронологическую) определенность, то второй элемент этой системы, названный «общество», лишен этого знака: он может служить в построении историка образцом неисторичности, вневременности.

В конце XVI в., пишет Тревор-Ропер, вся эта система вступила в полосу кризиса. Ропот и недовольство в народе становились все слышнее, но они, по его мнению, были направлены не против деспотизма королей, а против умножения паразитической бюрократии<sup>21</sup>. Однако к началу XVII в., когда прекратились войны, вместе с установлением мира система снова оказалась «приемлемой». Она расцвела еще пышнее. Но в 1620 г. наступает конец: европейская война снова принесла невзгоды, связанные с дороговизной, увеличенными налогами, умножением бюрократии. Наступил общеевропейский торговый кризис. Распространяется климат ненависти ко «двору», придворным, роскоши и мотовству, оборачивающимся для народа растущим гнетом фиска, растет универсальный пуританизм, по отношению к которому английский пуританизм был только локальной формой. По мнению Тревор-Ропера, это была общеевропейская морально-этическая реакция против Ренессанса.

В Англии основным налогоплательщиком было джентри. Во Франции налоговый гнет падал больше всего на плечи крестьян. Отсюда, когда на-

<sup>18</sup> H. R. Trevor-Roper. Op. cit.

<sup>19</sup> Ibid., p. 31, 33.

<sup>20</sup> Ibid., p. 37.

<sup>21</sup> Ibid., p. 48—49.



ступило революционное двадцатилетие (1640—1660), в Англии во главе восстания стояло джентри, во Франции основной формой взрыва недовольства были крестьянские выступления. Восставшие, таким образом, могли социально различаться, причина же была одна и та же — паразитизм и дороговизна двора. Таким образом, заключает Тревор-Ропер, проблема не была конституционной, в ней не стоял вопрос: корона или парламент; она не была экономической, ее не занимал способ производства, речь повсюду шла только об одном — об освобождении от гнета централизации, о сокращении расходов на управление, о прекращении практики продажи должностей и т. д. <sup>22</sup>

Итак, философия истории XVII в., содержащаяся в построении Тревор-Ропера, резюмируется в двух положениях: 1) все «революции» в Европе XVII в. были по своему характеру однородными, т. е. неклассовыми, несоциальными кризисами. Они ничего общего не имели с так называемым историческим прогрессом, ибо их идеал был не впереди, а позади — в «доренессансном государстве»; 2) по причинам, их обусловившим, эти «революции» не были ни проявлением борьбы классов, ни конституционными конфликтами, ни результатом смены общественных формаций. Единственное, о чем они свидетельствовали, заключалось в дисфункции «ренессансной системы», в которой нарушилось равновесие элементов «общество (нация) — государство (двор)». Дело в том, что эти «элементы» были несовместимыми друг с другом ценностными критериями при решении проблемы адаптации старой системы к новым условиям XVII в. То, что в глазах общества было «допустимым» во «дворе» XVI в., стало «нетерпимым» в XVII в., и, соответственно, то, что было возможным для двора XVI в., стало причиной взрыва в XVII в.

Таким образом, мы убедились, какую роль выполняет в современной буржуазной историографии «аналитическая модель» функциональной социологии и почему историческая критика первой должна начинаться с критического анализа второй.

Если социальная революция всего лишь результат дисфункции нарушения равновесия системы, то, очевидно, ее возможно избежать, ее цели могут быть достигнуты и без нее. Так все требования революции 40-х годов в Англии, по мнению Тревор-Ропера, заключались в том, чтобы «английская монархия позволила парламенту осуществить меркантилистскую политику. Абсурдно, — заключает он, — чтобы подобная политика была невозможна без революции». Если бы Яков I или Карл I обладали бы нервами королевы Елизаветы, «старый порядок» мог бы приспособиться к новым условиям мирно <sup>23</sup>. То обстоятельство, что революция все же вспыхнула, никакая не закономерность, а чистейшая случайность: личные качества Карла I и людей его окружения — вот причина «Великого мятежа». Объяснение крутых поворотов истории случайными, приходящими обстоятельствами не является, разумеется, открытием Тревор-Ропера, ему принадлежит только выбор таких обстоятельств.

Отрицание классового деления и антагонизма в обществе обусловило появление таких «антагонистических пар», как «двор — нация», «двор — провинция» и т. п. Объявить Английскую революцию не торжеством буржуазии, а победой «провинции» над двором значило поставить ее в ряд средневековых, по типу, движений <sup>24</sup>. Построение Тревор-Ропера — это характерно для современного буржуазного исторического мышления по проблеме «кризис XVII в.».

<sup>22</sup> Ibid., p. 51.

<sup>23</sup> H. R. Trevor-Roper. Op. cit., p. 59, 60. А. Токвиль оказался поистине пророком своего класса: почти через полтора столетия его тезис о ненужности революции все еще входит в фундамент буржуазного истолкования революционных эпох.

<sup>24</sup> Ibid., p. 60.



Двадцатилетие, истекшее с начала этой дискуссии, не притупило интереса к данной проблематике, о чем наглядно свидетельствуют постановка и обсуждение ее на XIII Международном конгрессе историков в Москве (1970 г.). Объясняется это тем, что слишком сложен и противоречив XVII в. в истории Европы, слишком многое в его истории остается еще неясным, малоизученным. Даже далекие от марксизма-ленинизма исследователи вынуждены признать переломный характер XVII столетия. В то время как одни из них связывают это с переломом в укреплении и окончательном торжестве абсолютизма (Франция), другие, наоборот, — с победой конституционных начал в политическом строе (Англия). Одни доискиваются его в начатках свободомыслия и Просвещения, другие — в новых основаниях международного права и международных отношениях. Все это, разумеется, верно в частности, но не объяснено в своей целостности. Как уже подчеркивалось, без синтезирующих возможностей, открывающихся для исследования Английской революции 40-х годов XVII в., решенной проблема быть не может. Это обстоятельство с новой силой обнаружилось на конгрессе. В ходе дискуссии выявились три направления, существующие в западной историографии по проблеме «кризиса XVII в». Во-первых, последователи концепции Мунье — Тревор-Ропера, направленной против классового анализа социальных конфликтов XVII в. Свидетельством живучести этого направления явилась точка зрения датского историка Н. Стеенгорда, изложенная им в докладе на конгрессе<sup>25</sup>. Стеенгорд как будто усомнился в научной плодотворности самого понятия «кризис» применительно к истории Европы в XVII в. Термин, который в одинаковой мере пригоден для описания столь различных национальных ситуаций, заключал он, непригоден для объяснения ни одной из них. Но ставя под сомнение универсальность термина без дальнейших определений, он продолжает им пользоваться для характеристики состояния отдельных сфер общественного целого — экономики, политики и т. п.

Историки, отметил Стеенгорд, редко задумываются над тем, что собой представляет общий экономический кризис в допромышленном и достаточном обществе, поскольку они сплошь и рядом пользуются определениями, заимствованными из промышленной эпохи, и делают вывод: кризис — это период, при котором индексы производства, инвестиций, торговли, цен свидетельствуют о депрессии, замедленном росте. Однако на пути к такого рода анализу экономики XVII в. встречаются два непреодолимых препятствия. Во-первых, экономические показатели для XVII в., восстанавливаемые с большим трудом, относятся к ограниченным областям и носят печать случайности (а не свободного выбора исследователя). «Можно ли на основе такого случайного материала строить общие выводы?» Отрицательный ответ Стеенгорда нельзя не поддержать. Во-вторых, при характеристике экономической конъюнктуры XVII в. редко учитывается специфический характер тогдашней экономики. И как вывод: критерии должны извлекаться из специфики данной экономики, отражать ее закономерности. Против этого возражать, разумеется, не приходится, точно так же следует согласиться с тезисом, что в XVII в. наступил общий застой в динамике народонаселения<sup>26</sup>, даже в тех случаях, когда — в отличие от юга Европы и Германии — общая численность населения на протяжении столетия в целом возросла, прирост следует отнести за счет первой половины века (Англия, Нидерланды). Это подтверждается конъюнктурой цен

<sup>25</sup> Н. Стеенгорд. Характерные черты экономического и политического кризиса в Европе XVII в. М., 1970.

<sup>26</sup> J. Beloch. Die Bevölkerung Europas zur Zeit der Renaissance. — «Zeitschrift für Sozialwissenschaft. Bd. 3 [1900], S. 765, 786; R. Mols. Introduction à la démographie historique de villes d'Europe du XIV au XVIII Siècle, vol. 1—3. Paris, 1954—1956.

на продукты твердого спроса (хлеб и др.). Иначе обстоит дело с тезисом о промышленном кризисе. Поскольку это относится к одной из важнейших отраслей тогдашней промышленности — сукноделию, то заслуживает внимания тот факт, что спад в различных регионах происходил «в разные периоды» — выявить временное совпадение тождественных конъюнктур в общеевропейском масштабе не представляется возможным. Помимо всего, статистические данные по шерстяной промышленности в XVII в. становятся все менее показательными, поскольку сокращение производства и потребления шерстяных изделий с лихвой восполнялось ростом производства и потребления хлопчатобумажных тканей. К тому же статистика, относящаяся к шерстяному промыслу, совершенно не отражает объем производства и потребления грубошерстных изделий, производившихся в сельских местностях <sup>27</sup>.

Вместе с тем и данные о международной торговле, как отмечает Н. Стеенгорд, не дают возможности выявить какой-либо период, когда все ее показатели свидетельствовали бы об общей депрессии. Сокращение в первые десятилетия торговли между Севильей и испанскими владениями в Америке компенсировалось расширением торговли с Ост-Индией и усилением торговой активности англичан, голландцев и португальцев в Америке. Что же касается балтийской торговли, то самое большее, что позволяют утверждать «Зундские таможенные регистры» — это некоторый спад торговли зерном (по-видимому, результат демографического застоя) в 50—70-х годах <sup>28</sup>. Вообще балтийская «чаша весов» как показатель европейской торговой конъюнктуры все больше уступает свое место торговле колониальной, т. е. заокеанской. Наконец, нельзя судить о тоннаже морских перевозок в XVII в. только по голландским данным, поскольку во второй половине века значительно возрос флот англичан, французов, скандинавов, все более освобождавшихся от транспортных услуг голландцев. Такова количественная, так сказать, сторона проблемы. Качественная же сторона торговли нуждается, как уже отмечалось, прежде всего в установлении новых показателей и среди них на первое место выдвигается роль государственных расходов на внутреннем рынке каждой страны. «Государственное потребление», инвестиции и перераспределение средств как могущественный фактор тогдашней экономики еще крайне недостаточно изучены <sup>29</sup>. Содержание и снаряжение крупных постоянных армий, флота, фортификаций, строительство и содержание дворцов, расходы на аппарат управления, «экономическая политика» в отношении различных отраслей национальной экономики — одним словом, все аспекты проблемы «государство и экономическая конъюнктура» нуждаются в интенсивных исследованиях. Хотя это замечание немаловажное, оно тем не менее не исчерпывает проблемы кризиса экономики. За его пределами остались вопросы: не тормозился ли в XVII в. (в сравнении с XVI в.) процесс генезиса капиталистических производственных отношений? Не происходила ли консервация или даже возрождение феодальных элементов — от сферы экономики до сферы права и идеологии — и не только в странах Центральной и Восточной Европы? Иными словами, когда речь идет о «конъюнктуре» XVII в., историк не должен забывать, что помимо количественных показателей это понятие имеет и более важную сторону — формационную, следовательно, в каком секторе экономики в XVII в. проявляется стагнация: в капиталистическом (включая мелкотоварный) или в феодальном (включая корпоративный) <sup>30</sup>. И если вывод Стеенгорда о том, что абсолютные количественные данные не дают «возможности выделить какой-либо определенный период», когда европейская промышленность и торговля находи-

<sup>27</sup> Н. Стеенгорд. Указ. соч., стр. 3.

<sup>28</sup> Там же, стр. 5.

<sup>29</sup> Там же.

<sup>30</sup> Хотя Хобсбаум в рассматриваемых выше работах и обратил внимание на эту сторону проблемы, она осталась в целом не рассмотренной участниками дискуссии.

лись бы в состоянии общей депрессии, представляется на эмпирическом уровне несомненным, то на теоретическом — возникают серьезные сомнения. Стеенгорд требует для признания «кризиса» синхронности конъюнктур в одних и тех же «секторах экономики». Но тогда как же быть, если в разных странах центр тяжести экономики лежал в различных секторах? Таким образом, если в первом случае синхронность конъюнктур — вещь нереальная, то во втором — она вполне допустима и заслуживает исследования. Далее, Стеенгорд не без основания придает едва ли не решающее значение в формировании экономической конъюнктуры налоговой политики: «Можно высказать гипотезу о том, что с экономической точки зрения кризис в XVII в. представлял собой главным образом сдвиг в спросе, вызванный перемещением доходов из частного в государственный сектор посредством налогообложения»<sup>31</sup>. Опережающий рост налогообложения в сравнении с ростом национального продукта — факт международный для XVII в. Однако в различных странах социально-экономическая почва, на которой этот рост происходил, отнюдь не одинакова. Чем выше был уровень становления капитализма в данной стране, тем стагнация ощущалась острее, тем больше было шансов перерождения «экономического кризиса» в кризис социальный и политический. Поэтому важен не уровень налогообложения сам по себе, а его соотношение со структурой экономики, с одной стороны, и с социальной структурой, с другой.

Так мы приблизились ко второму вопросу, рассмотренному Стеенгордом: можно ли связать картину «экономического кризиса» с политическим, с «революциями» XVII столетия? По его мнению, на этот вопрос следует ответить положительно, но несколько иначе, чем это предложил в свое время Тревор-Ропер. Поскольку все «революции», происходившие в середине XVII в., были направлены против «динамичного абсолютизма», постольку общей их причиной могло явиться лишь повышение налогов, что в свою очередь было связано с ростом расходов на подготовку и ведение войн (как известно, Тревор-Ропер отвергает войну как причину роста налогов и вместо нее указывает на расходы по содержанию «паразитирующей бюрократии»). Нельзя, конечно, отрицать факт очевидного вторжения абсолютной монархии в отношения собственности, их регулирование в угоду «высокой политике» двора и придворной бюрократии. Почему же в таком случае возмущение на этой почве не приобрело всеобщего характера в XVI в., а обусловило взрыв в XVII в.? И главное, почему столь различна социально-политическая природа «протеста» против повышения налогов? Почему на переднем плане противников двора оказываются столь разнородные силы?

На первый из этих вопросов попытался ответить и Стеенгорд и западногерманский историк С. Скалвейт, второй же вопрос для них вообще не существует. Ответ Стеенгорда кажется неожиданным: «всеобщий кризис» — фикция<sup>32</sup>. В каждой стране реакция на повышение налогов была различной — она выражалась либо в форме зачаточных и кратковременных протестов, либо вообще их не вызывала (Дания, Швеция, многие княжества в Германии). Но согласимся, что это — констатация, а не объяснение, ибо суть дела в том и заключается, чтобы выяснить подоплеку различных реакций на универсальный факт — рост налогообложения. Решительно отклоняя «консервативную интерпретацию» Мунье (которого он именует «защитником абсолютизма»), Стеенгорд предлагает собственную интерпретацию «антиналогового протеста» XVII в. Когда историк сталкивается с кризисными ситуациями, подчеркивает он, перед его глазами встает образ Французской революции конца XVIII в., которая стала чем-то вроде образца исторического анализа. «Видимо, в своих взглядах на правительство и революцию современные историки мыслят категориями XIX в.

<sup>31</sup> Н. Стеенгорд. Указ. соч., стр. 12.

<sup>32</sup> Там же.

Мы механически ожидаем, что правительства должны кого-то представлять». Отсюда поиски глубоких социальных корней политических кризисов. Между тем, если следовать логике Стеенгорда, абсолютизм никого не представлял, кроме самого себя, т. е. слоя людей, стоявших у власти (точнее, осуществлявших управление государством). Производя с помощью налогов перераспределение доходов, абсолютизм поступал «революционно», а восстававшие против этой политики являлись «реакционерами», обремененными покушением на их привычные привилегии и стремившиеся к возврату добрых старых времен. Таким образом, антиналоговые восстания, по его утверждению, носили реакционный характер.

Концепция эта не отличается новизной и гораздо ближе к интерпретации Мунье и Тревор-Ропера, чем думает ее автор. В самом деле, если для историков Запада все политические кризисы середины XVII в. объединяются под универсальным термином «революции», то в концепции Стеенгорда все они выступают под столь же бессодержательным понятием «антиабсолютистской реакции».

Так или иначе, но в обоих случаях совершенно различные по социально-политической природе «кризисы» подводятся под «общее понятие», без предварительного выяснения вопроса о степени их соотносимости. В этом и заключается несостоятельность всей концепции «общего кризиса XVII в.», концепции, в которой историческая закономерность подменена категорией экономического цикла. Так как явления экономического спада не везде выражались в XVII в. одну и ту же ступень кризиса способа производства, точно так же политические кризисы этого времени могли быть столкновениями сил весьма разнородных. Как раз мимо этой истины прошел Стеенгорд.

При первом ознакомлении с докладом С. Скалвейта на XIII Международном конгрессе историков может показаться, что он сосредоточил свое внимание на сравнительно-историческом изучении политического аспекта кризиса XVII в. в Англии и во Франции с целью различения его природы. На самом же деле это впечатление обманчиво<sup>33</sup>. Сравнительно-историческое изучение свелось к простому отождествлению Английской революции с событиями Фронды, т. е. отрицанию этой революции. Общность между ними Скалвейт увидел в том, что и та и другая направлены против определенной монархической системы. В подтверждение этой концепции приводятся суждения ряда современников революции, и при этом у Скалвейта нет ни малейших сомнений: вдруг классовая позиция этих деятелей мешала им увидеть суть происходящего в Англии XVII в. Кроме того, имеются свидетельства и другого порядка, которые Скалвейт игнорирует. Сведения социального переворота к конституционному конфликту — прием отнюдь не новый. Перед нами весьма почтенного возраста вигская концепция «Великого мятежа». Новым является лишь сравнительно-исторический метод обоснования этой концепции. Поскольку очевидно, что события в Англии и Франции сопоставимы лишь при условии вычленения из них некоего общего основания, т. е. либо усмотрев в событиях Фронды социальное потрясение, близкое по характеру движущих сил к «Великому мятежу» в Англии, либо, наоборот, истолковав «Пуританскую революцию» в духе событий Фронды — С. Скалвейт предпочел последнее. Именно так и появилась тема «конституционного конфликта» в Англии XVII в. Тем самым весь конфликт, как и в концепции Стеенгорда, перенесен из сферы социально-классовой в сферу политическую. Иными словами, возможность компаративистского подхода открывается ценой игнорирования специфики классового антагонизма в обществе сопоставляемых стран, т. е. ценой ограничения поля зрения самой верхушечной политической сферы — конституционной структурой государства. Признав исторические процессы в

<sup>33</sup> С. Скалвейт. Франция и конституционный конфликт в Англии в XVII веке. М., 1970.

Англии и во Франции в середине XVII в. различными по своим масштабам, как и по степени долговечности идеологического их наследия, Скалвейт вместе с тем подчеркивает, что общность их заключалась в том, что они были направлены против определенной монархической системы. В конечном счете, все различие между «Великим мятежом» в Англии и Фрондой во Франции было обусловлено не различиями в классовой структуре общества, а коренным различием в «политической структуре английской и французской монархии» — таков заключительный вывод концепции Скалвейта. Но поскольку эти особенности не объясняют сколько-нибудь удовлетворительную специфику кризиса XVII в. в сравниваемых странах, постольку Скалвейт вынужден перейти от рассмотрения особенностей государственной структуры к анализу социально-исторических структур. Как и в сфере административной, наблюдения Скалвейта здесь отличаются, скорее, формально-юридическими построениями, чем проникают в суть явлений.

Игнорируя труды советских и английских прогрессивных историков, посвященные революции XVII в. в Англии, Скалвейт увидел ее социальные корни лишь в проблеме джентри, с одной стороны, и в кризисе английской аристократии, с другой. Ни становление нового, капиталистического строя, ни формирование новых общественных классов — буржуазии и пролетариата, ни сущность крестьянско-аграрного вопроса, ни проблема пауперизма для него не существуют. Между тем в области сравнительно-исторического изучения «кризиса XVII в.» немало проблем, рассмотрение которых показывает специфику сравниваемых явлений. Среди них следует прежде всего указать на различия в социальных изменениях дворянства и буржуазии в Англии и Франции XVII в. Скалвейт пытался анализировать мобильность как движение в одном направлении. Более многообещающей представляется попытка ее рассмотрения как разнонаправленную: во Франции речь шла о путях и следствиях одворянивания части буржуазии, в Англии, наоборот, — о путях и следствиях обуржуазивания части дворянства.

Не возникает ли при этом препятствия на пути к сравнительно-историческому изучению упомянутых кризисов? На наш взгляд, ни в коем случае. Но проблема заключается отнюдь не в том, чтобы любой ценой отождествить характер политического кризиса в Англии 40-х годов и во Франции середины XVII в., а в том, чтобы, взяв за точку отсчета победоносную буржуазную революцию в Англии, выяснить специфику противоборствующих тенденций в характере кризиса в Англии и во Франции. В рамках сравнительно-исторического изучения проблема принципиальных различий между Фрондой и Английской революцией середины XVII в. выдвигается на одно из первых мест. Современное исследование XVII в. органически не может быть сколько-нибудь плодотворным вне общеевропейской перспективы.

Одним из действительно плодотворных результатов анализируемой дискуссии была постановка вопроса (а для ряда стран и их конкретное исследование) об экономическом облике и политической позиции дворянства в Европе XVII в. С этой точки зрения несомненный интерес представляют доклады П. Губера «Общие проблемы французского дворянства» и Ж. Мейера «Дворянство Центральной Европы в XVII в.» на XIII конгрессе историков<sup>34</sup>. Изменения в социально-правовой структуре дворянства как класса, по крайней мере со времени дискуссии по вопросам истории английского джентри, превратились в своеобразную ключевую проблему кризисных ситуаций этого века. В какой мере французское дворянство XVIII в. было захвачено явлениями экономического кризиса? Какова была позиция различных слоев дворянства в событиях Фронды? Таковы пробле-

<sup>34</sup> П. Г у б е р, Ж. М е й е р. Проблемы дворянства в XVII веке. М., 1970.

мы, которые привлекли наибольшее внимание П. Губера. Некоторые его наблюдения представляются несомненно плодотворными для исследования истории дворянства в целом.

Интерес представляют наблюдения П. Губера относительно сословно-правовых различий между «дворянством мантии» и «дворянством шпаги»: по большей части эти различия весьма поверхностны и в провинции более акцентируются, нежели в Париже. Важной стороной истории дворянства является экономическая. Составляя в XVII в. не более 2% общего числа французов, дворяне владели львиной долей всех богатств, важнейшим из которых была земля, — им принадлежала четвертая, а может быть, и третья часть всех земельных угодий страны. Кроме того, они были собственниками лучших лугов, лесов, пастбищ, взимали различного рода сеньориальные ренты с трех четвертей французской территории. Наконец, дворяне участвовали в распределении церковных доходов (возможно, их доля составляла добрую половину этих доходов). Если к этому присовокупить королевское жалованье за исполнение мнимых и действительных должностей, то в итоге 2% населения получали 20—30% национального дохода. И это, не учитывая доходов от откупов, снаряжения кораблей, от промышленных предприятий (угольных шахт, добычи руды). Опираясь на новейшие исследования по экономической истории, Губер решительно отвергает теорию, восходящую еще к Анри Озе, согласно которой «революция» цен XVI в. якобы разорила дворянство, так как его доходы были определены в денежном выражении, буржуазию же она обогатила. В действительности же только одна из составных частей сеньориальной ренты — фиксированная рента (чинш) — потеряла свое значение, но она всегда была наименьшей. Все же прочие ренты (поземельные, сеньориальные, десятины, королевские) либо повышались пропорционально росту цен, либо этот рост опережали. Если же знатные дворянские семьи обеднели в XVI в., то истинной причиной были громадные расходы, связанные с гражданскими и религиозными войнами, потеря королевского расположения, неразумное ведение хозяйства. За исключением отдельных случаев во Франции, заключает Губер, не существовало по-настоящему бедных дворян (бедных в соответствии с критериями бедности ротюрье). По-настоящему бедных дворянство быстро удаляло из своих рядов.

Этот вывод заставляет по-новому оценить политическую позицию дворянства. Так же как историки до последнего времени плохо различали какие типы доходов отвечают понятиям «дворянство» и «буржуазия», они, по мнению Губера, смешивали и политические позиции этих классов в конфликтах XVII в. Начать с того, что во французских парламентах должности занимали дворяне и чаще всего представители самых древних родов. Что же касается понятия «парламентская буржуазия», то оно, по его замечанию, не отвечает действительности. Если буржуазия действительно существовала в XVII в., заключает он, то ее нужно искать за пределами парламентов. Следовательно, Губер убедительно обосновывает феодальный, дворянский характер парламентской Фронды. Вместе с тем он не отрицает процесса интенсивного проникновения крупной буржуазии в ряды дворянства. Однако это «политическое дворянство» — в отличие от парламентского — служило королю и им поощрялось. Внуки торговцев и судей, должностных лиц финансового ведомства, разбогатевших на откупе налогов, военных поставках и займах, помогали трем королям, они стояли во главе почти всех сколько-нибудь важных государственных дел. Хотя Губер, по-видимому, предпочитает традиционную точку зрения на характер Фронды, он сделал ряд серьезных наблюдений. Их будет учитывать каждый исследователь этого периода, независимо от общих своих воззрений на проблему Фронды в целом. Призыв Губера обратиться к изучению архивов дворянских фамилий Франции XVII в., чтобы, основываясь на фактическом материале, избежать «напрасных словопрений», следует поддержать.

Наибольший интерес в докладе Ж. Мейера представляет постановка вопроса о путях обновления и консолидации дворянства Германии после Тридцатилетней войны. Одворянивание верхушки бюргерства, как выяснилось, было здесь не менее интенсивным, чем во Франции той же поры. Однако принципиально новым, специфическим для структуры дворянства Германии являлся удельный вес новой аристократии. В Германии «новое дворянство» стало краеугольным камнем этого класса, чего не было ни в Англии, ни тем более во Франции. Точно так же принципиально иной была социально-историческая роль этого «нового дворянства» в сравнении, к примеру, с «новым дворянством» Англии. В Германии оно стало проводником жесточайшей в истории Европы феодальной реакции. Следовательно, за тождеством термина следует различать разнородность исторической функции этого дворянства. Расчетливость обогороженного бюргера превратило вотчину в коммерческое предприятие, основанное на жесточайшей эксплуатации крепостных. Таким образом, в Германии одворянивание части бюргерства оказалось выражением движения общества не в сторону капитализма, а вспять, к новой форме крепостничества.

Подводя итоги, необходимо отметить, что дискуссия о так называемом «кризисе XVII в.» независимо от того, желали этого ее участники или нет, обнаружила, что проблема переходных межформационных эпох приобрела в последние годы особую актуальность не только в марксистско-ленинской, но и в буржуазной историографии. Сам по себе факт, что «кризис XVII в.» признан общеевропейским, что он охарактеризован как разносторонний, охватывающий все сферы общественной жизни, свидетельствует не о конъюнктурном явлении, не о случайном совпадении различного рода «дисфункций», а о кризисе феодализма как формации, охватившем европейское общество в целом. Кризис этот не означает, что все страны были захвачены им в равной мере, на одну и ту же глубину, что его проявления должны были быть тождественными во всех странах или хотя бы в одних и тех же сферах общественной жизни, наконец, что тождественной должна была быть реакция различных общественных классов в указанных странах на явления этого кризиса. Но всякая попытка оторвать проблему «кризиса XVII в.» от проблемы революционной смены общественных формаций — феодализма капитализмом — лишает историческое исследование способности проникнуть в эту суть проблемы, осуждает его на поверхностные наблюдения и параллели.